

Василий Белов

## ВОСПИТАНИЕ ПО ДОКТОРУ СПОКУ

1

Лодка плывет по бесшумному зеленому лесу. Весло хлебает густую, пронизанную солнышком воду, и Зорин видит, как по затопленным тропам гуляют горбатые окуни. Свет, много света, такого искристого, мерцающего. Непонятно, откуда его столько? Или от солнца, которое горит где-то внизу, под лодкой, или от слоистой воды. Зорин всплывает прямо в желтое облако цветущего ивового куста, оно расступается перед лодочным носом, и вдали, на холме, вырастает веселая большая деревня. Дома, огороды, белые от снега полосы пашни, разделенные черными прошлогодними бороздами,— все это плавится и мерцает. Босая девчоночка в летнем платье стоит на громадном речном камне. Она зовет Зорина к себе, и у него сжимается сердце от всесветной тревожной любви. Он торопится, но лодка словно примерзла. Его тревога нарастает, мускулы почему-то немеют и не подчиняются. «Иди сюда! — слышит он голос Тони.— Иди скорее, будем ставить скворечник!» Он не может больше, он должен ставить скворечник. Сейчас он пойдет прямо к ней по солнечной широкой воде, надо поставить скворечник, скорей, сейчас же, потому что скворцы уже прилстели и в небе поет жаворонок. Он поет высоко-высоко, невидимый, настойчивый. И вдруг это пение оглушает, разрывает Зорину все нутро...

Он просыпается, ошарашенный от мерзкого оглушительного звона будильника. Утро. «Да заглохнешь ли ты наконец?! О, черт...» Он с ненавистью прихлопывает эту гнусную механизацию. Оглядывается. Ага, все ясно. Дела настолько плохи, что даже спал он, не снимая брюк. И на раскладушке. Душа у него болит, но он бодрится, пробует даже что-то насвистывать и открывает форточку. Прислушивается к двери в смежную комнату: «Тонь, а Тонь?»

В ответ — ни гугу, полное, так сказать, игнорирование. «Ну, что ж... — думает он. — Поглядим, что она будет делать дальше».

В комнате, где он спал, разумеется, изрядный бардачок. Раскладушка стоит посреди пола. Ботинки валяются в соседстве с Лялькиным мишкой, носами в разные стороны. На стуле висит какая-то дамская штуковина. Вечно эта сбруя раскидана где попало! Просто удивительно, как быстро все меняется, думает Зорин. Стоило появиться на свет Ляльке, и у супруги начисто улетучилась всякая стыдливость. Раскидывает свои штуки у всех на виду, даже при чужих...

Зорин проникается благородством и ставит мишку на детский столик. Складывает раскладушку и делает еще одну попытку восстановить отношения:

— Тонь, ты спишь?

В ответ слышится нечто мощное и уверенное в правоте:

— Пьяница несчастный!!

— Да? — Это «да» звучит глупо. Зорин сам это чувствует и чмокает языком. — Но, Тонь...

— Домой можешь не возвращаться.

Ему жалко будить Ляльку. До садика Ляльке целый час. Лялька может спать еще тридцать минут. Он бы сказал кое-что, но ему жалко будить Ляльку. Жена и так делала из девочки ходячего робота. Укладывает в кровать, когда Ляльке хочется прыгать на одной ножке. А когда у ребенка глаза совсем слипаются, велит рисовать домики. Девочка любит суп с черным хлебом — на черный хлеб наложено вето. Даже писать и какать изволь в определенное время суток. Черт знает что творится!

Гася раздражение, с решительным видом Зорин идет умываться. Гул клозетной воды похож на извержение Везувия. «Или гул этого... Ну, как его? Ниагарского водопада. Ни в жизнь не видал ни того, ни другого. И вообще... «Можешь не возвращаться»! А что я такого сделал? Смех на палочке... Прежде всего надо почистить зубы. Ах, черт! Опять выдавил в рот крем для бритья. Тоже мне, деятель...»

Голова у него почти свежая, зато в желудке затаилась тягучая противная пустота: «Вакуум какой-то. Хорошо, что пили одно сухое. Мы с Голубевым раскачали-таки Фридбурга, наш Миша под конец завелся. Даже до танцев у него дошло. Побриться мне или нет?»

Он решает не бриться и идет на кухню: «Так. Нормаль-

но. Вчерашние пельмени. Трудно рассчитывать на горячий завтрак при таких обстоятельствах, очень трудно. Скользкие, как лягухи, но есть можно... Стоп! Супруга, кажется, покинула укрепленную зону. Что-то покидывает...»

— Может, ты все же спросишь, где я вчера был?

Зорин говорит спокойно и втайне гордится своим великодушием. Но в ответ слышно, как его ботинки на второй космической скорости улетают к порогу.

— Ты же разбудишь Ляльку,— говорит он и чувствует, как улетучивается все его джентльментство.

— Тебе разве есть дело до ребенка? — она оборачивается с притворным спокойствием.— Вот новость!

— Ладно, перестань.

— Свиньей был, свиньей и останешься!

«Точь-в-точь как в итальянском кино»,— мелькает у него в голове. Его начинает трясти, он наскоро проглатывает пельменину и вплотную подходит к жене:

— Перестань!

«О, она у меня смелая женщина. Она не перестанет. Сейчас из нее полезет бог знает что, слова у нее вылетают сами. Иногда она и сама им не рада. Сейчас дойдет до моей полочки, потом до кино — она не ходила в кино уже полгода. Дальше явятся Лялькины башмаки и сломанный телевизор».

Зорин чувствует, как на виске начинает дергаться какая-то жилка.

— Чего ты орешь, ну чего ты орешь? — говорит он и с отвращением замечает, что и сам переходит на крик.

— Не хочу с тобой говорить!

— Ну и не говори! Подумаешь, цаца!

Он уже взбешен, а у нее вдруг выграло достоинство, и она спокойно произносит:

— Пожалуйста, не оскорбляй.

— Дура! — в отчаянии кричит он и, чтобы не ударить, хватается полушубок.

От крика просыпается и плачет Лялька. Зорин выскакивает на лестничную площадку, но детский плач приводит его в чувство. «Дура...» Он возвращается, меняет шлепанцы на ботинки. Подходит к серванту, но в банке из-под грузинского чая только новый червонец и ни одного рубля. Лялька ревет в другой комнате.

— Дай мне на обед,— как можно спокойнее говорит он, но жена словно не слышит.

Он глядит на часы и хлопает дверью...

В это время щелк в дверях двух соседних квартир исчезают как по команде. Английские замки щелкают дружно и одновременно.

На улице он ловит себя на том, что ему жаль самого себя. Зорину хочется вернуть, оживить, восстановить счастливое ощущение, испытанное во сне. Оно ускользает, заслоняясь будничными впечатлениями. Зорин упорствует. Образы весеннего водополя, увиденного во сне, вдруг проясняются в памяти. И, цепляясь за эти образы, он припоминает весь сон: мерцающую реку, баню Олеши Смолина и босую девчоночку, стоящую па большом речном камне. Ту самую Таню, эвакуированную из Ленинграда, Таню, которая жила в соседней деревне. Но ведь в действительности на камне стояла не Таня, а Тоня, его жена. Тоню же он возил когда-то и в лодке. Почему во сне обе они всегда так странно объединяются в одну? Зорин чувствует, как у него краснеют, наливаются кровью ушные хрящи, торопится к автобусной остановке.

Вообще-то Тонька отчасти права, думает Зорин. Зарок пить только сухое вино исполнялся вчера слишком усердно. Это у Зорина зарок номер один. Второй зарок — говорить меньше, чем слушать, — Зориным исполняется, а вот первый... Впрочем, все дело в Фридбурге. Зорину давно хочется перейти из треста в проектный, а дружок Мишки Фридбурга там замзав. И вот они встретили этого зама в ресторане, и даже Мишка напился. До того, что начал обхаживать какую-то блондинку...

Зорин смотрит на часы, времени уже без двадцати восемь. Хорошо, если Воробьев будет звонить сначала Голубеву и они полаются минут пять—десять. Зорин живо представляет этот полный взаимных любезностей диалог: «Пригласите к телефону товарища Голубева». — «Товарищ Голубев?» — «Так точно, товарищ Голубев, а это кто, товарищ Воробьев?»

Самое интересное, что у обоих птичьи фамилии. Воробьев по своей хронической тупости, как всегда, не заметит тяжеловесного голубевского сарказма. Будет отчитывать Сашку за то, что тот не поставил ограждения вокруг котлована антисептика. Потом справится о прогульщиках: «Товарищ Голубев, доложите, кто не явился на производство». — «На производство?» — «Да, на производство». — «На производство, товарищ Воробьев, явились все. И не ваше ср... дело. Что? Можете спокойно сидеть в своем кресле...» В тепляке установится тишина, бригадиры в изумлении

будут глядеть на Сашку. Никто не заметит, что Сашка давно уж зажал рычажок телефона своей линейкой, сплошь разрисованной женскими торсами. Зорин-то знает, какой Сашка мастак показывать кукиш в кармане...

Но где же автобус? Куча народу, человек двадцать, скопилось на остановке. Все до того симпатичные, что просто стыдно за свою плебейскую физиономию. Ох, что-то сейчас будет! Вон с тем дядечкой периода архитектурных излишеств. Или вот с этой дамой, у которой все лицо зашпаклевано кремом и пудрой. Автобус — полным-полна коробушка — наконец подкатил, и вся публика враз преображается. Дядька сам себя проталкивает внутрь автобуса, но навстречу лезет такой же, не менее толстый, а с улицы давят почем зря.

— Граждане, что вы делаете? — пищит шпаклеванная. — Ай, что вы делаете?

— Ни хрена! — говорит здоровенный парняга в фуфайке.

— Давай, давай!

— Нажмем, братцы, а? — подсказывает кто-то веселый, еще с остатками сна на лице.

Однако нажали уже без него.

Автобус ковчегом, с креном на правый бок, отчаливает, дымит синими газами. Чьи-то ноги с задранном подолом зажало в автобусной дверце. «Ну и дуручка, — думает Зорин, жалея стиснутую дверкой даму. — Ну какая же ты дуручка, ведь надо же знать, что автобусы тоже иногда ходят парами. А то и по трое».

Все утренние невзгоды, автобусная возня, сраженье с Тонькой — все уходит на задний план. Вернее, вытесняется кое-чем свежим.

Разумеется, Воробьев уже звонил и наверняка остался доволен, что прораб Зорин опять опоздал на работу. Бригадиры и кое-кто из рабочих курят в дощатой зоринской резиденции.

— Все в сборе? — Зорин как можно увереннее здоровается. — А где Трошина?

Трошина — бригадир разнорабочих.

— Гришка! — говорит дядя Паша — бригадир каменщиков. — Беги кликни Трошину.

Гришка Чарский — цыган. Он бежит за своим бригадиром, а Зорин оглядывает тепляк. Вот дядя Паша. Почему-то он всегда говорит гравель, а не гравий. Дядя Паша сидит на ломаной перевернутой раковине и продолжает

что-то рассказывать — речь идет о том, как он впервые женился. Марья Федоровна — бригадир штукатуров, смеется, отмахивается от него:

— Ой, замолкни, ой старый пес! Ты бы хоть не врал, не молот попусту.

— Точно! Я тебе говорю! — всерьез сердится дядя Паша, и все хохочет.

Речь идет о весьма пикантных вещах, связанных с первой брачной ночью, и дядя Паша убедительно развивает свою теорию женской коварности:

— На что только эти бабы не способны, особо когда им замуж позарез надо...

— Мужики-то уж больно добры, — замечает Марья Федоровна. — Небось у тебя до нее пятнадцать было.

— От не верит! Ну, ей-богу, Марюта, она была самая первая!

— Так как же ты про это узнал, ежели она была первая?

— Вишь, после-то у меня была практика...

— Ну?

— Ну, а я и сужу по той практике.

— Так ведь тогда-то ты был без практики?

— Без практики.

— Так как же ты узнал-то?

Дядя Паша явно подзапутался. Он в раздумье скребет у себя за ухом, но в это время в тепляке появляется Трошина. Она сипло здоровается, и в первой же ее фразе колуном застрекает похабное слово. Зорин, сдерживая раздражение, говорит:

— Трошина, нельзя ли без мата?

Она виляет тощими бедрами и под смех строительного молодняка отпускает то же самое, только в квадрате. И Зорин знает, что если ей не уступить, то все это будет в кубе, потом степень будет расти и расти. Ах, старая каракатица! Она испортит ему всех девчонок в бригаде, это уж точно, испохабит вконец, и попробуй к ней подступись. Недавно она выиграла по лотерее мотороллер. Наверное, уже и кое-кто из женатиков приложился к тому мотороллеру, не говоря о холостяках. Эти-то перебивали у нее, вплоть до Гришки Чарского.

Зорин глядит на осунувшееся землистое лицо Трошиной и вдруг замечает дырочку на мочке уха. Наверное, прокалывала когда-то, еще девчонкой, мочка эта белая-белая.

— Ну, хорошо,— говорит Зорин.— Степановна, давай поближе, что ли.

Пока все рассаживаются, кто на чем, Зорин с некоторым тщеславием думает, что не такой уж он и дурак. Нет, в самом деле. Это же он изобрел наилучший способ утихомирить Трошину. Стоит спокойно, вот так попросту назвать ее по отчеству, и она сразу как-то отмякнет, и в глазах ее тухнут горячечные злобные блики.

— Все в сборе?

— Все,— говорит дядя Паша.— Козлова только нету.

Вот черт, мысленно ругается Зорин, Козлов крановщик. Хорошо, если явится хотя бы к обеду. Зорин мельком прикидывает, что делать каменщикам, если Козлов не явится.

— Сколько кирпича наверху?

— Да часа на два-три.

Он закусывает губу, стучит пальцами по столешнице. Тайком взглядывает на дядю Пашу. Кирпича наверху часа на два. Ну, а потом что? Дядя Паша глубоко вздыхает, чмокает ртом, высасывая что-то из зуба. Так, все в порядке. Теперь ясно, что если Козлов не явится, дядя Паша сам, в нарушение инструкции, сядет на кран. Каменщики не будут простаивать. Ну, а штукатуры? Ничего, на третий этаж можно носить раствор и носилками.

— Марья Федоровна,— как можно спокойнее говорит Зорин.— Леса готовы?

— Готовы.

— Начинайте штукатурить среднюю секцию.

— А раствор?

— Что раствор, что раствор! — он еле сдерживает раздражение.— Ваше дело штукатурить. А раствор... Придется носить вручную.

— Мы что, лошади? — опомнившись, басом кричит Трошина.— Не будем носить!

— Будешь носить! — тихо говорит Зорин.— Будешь, Трошина! Ясно?

Он изо всех сил сжимает челюсти. И словно гипнотизер, прищурившись, глядит в лицо Трошиной. Прямо в ее переносицу. Он видит, как она отводит глаза. Кричит, но отводит, значит, будет носить раствор.

— Все. Штукатуры и каменщики могут приступать.

В тепляке поднимается шум. Трошина орет громче всех, отказываясь вручную носить раствор. Плотники выбрали делегацию из трех человек и требуют показать

наряды. «Кой черт, наряды! Нарядами у меня еще и не пахнет». — «Константин Платонович?» — «Ну?» — «О прошлом месяце ты нас во как надул». — «Как так надул? Выбери выраженья, Кривошеин». — «Я и выбираю». — «Ну?» — «Народ просит поглядеть наряды». — «Да нет нарядов, не писал еще! Тебе ясно это, Кривошеин?»

Кривошеину стало ясно, и он уводит делегатов. Сантехник и слесарь топчутся у стола уже несколько минут.

— Что?

— Константин Платонович, тройники-то не стандартные.

— Как так не стандартные, не может быть.

Слесарь и сантехник стоят, ждут.

— Ну, хорошо... Займитесь другим монтажом. Маленькие вы, что ли? Смените раковину в тридцать шестой. Монтер, где монтер?

Появляется электромонтер, мальчишка-практикант. Он совсем еще ребенок.

— Попробуй, дружище, подключить лебедку...

Кто-то просит выписать лопаты, кто-то трясется с заявлением на отпуск. Сторожиха требует отгул за выходные дни. Телефон брзжит то и дело. «Да, слушаю. Будут наряды! Нет, не сегодня... Але-у! Девушка, там нет Фридбурга? Есть? Привет, старичок! Слушай, если сегодня не пошлешь сварщика...»

Наконец в тепляке устанавливается тишина. Теперь Зорин сможет сесть за наряды. Надо вытащить расценки и прочую бухгалтерию. Начать с каменщиков, это ведущая бригада. О, уж Зорин-то знает, что такое писать наряды. Говорят, что кто что заработал, тот то и получай. Если бы так. Беда в том, что он не может платить людям по закону. Почему? Да потому, что не может. Никак. Не выходит, и все. Вот дядя Паша. Лучший каменщик, портрет его третий год на городской доске Почета. Зорин прикидывает объем выполненной работы. Количество рабочих часов и смен такое-то, разряд такой-то. По закону дядя Паша заработал около трехсот рублей. А у Смирнова? У Смирнова выйдет всего около ста рублей. Конечно, Смирнову как каменщику с дядей Пашей не тягаться. Но если Зорин начислит ему сто рублей, а дяде Паше триста, Смирнов тотчас уйдет со стройки. Да еще уведет с собой человек четырех. Это уж как пить дать. А дом надо сдать к Майским праздникам. Даже если допустить этот уход, что из того? Еще неизвестно, кто придет вместо Смирнова, и



ничего, по существу, не изменится. И вот Зорин мухлюет. Мудрит и колдует с тарифной сеткой, он должен закрыть наряды Смирнову хотя бы на сто пятьдесят рублей. А дяде Паше снизить фактический заработок, потому что фонд зарплаты совсем не резиновый. Постой, а в чем же виноват дядя Паша? Получается, что ему совсем невыгодно хорошо работать. Да, невыгодно. И все же он работает. Работает дай боже, хотя знает, что все равно не заработает больше, чем в прошлом месяце. Голова идет кругом! А плотники? Та же история. Разнорабочие? Тут уж совсем... Если бригаде Трошиной закрыть наряды по всем правилам, не получится даже месячного минимума. У каждой семья, каждая живет от полочки до полочки. Но они же ничего не заработали, если выводить по расценкам. И вот Зорин ломает голову. Где взять Трошиной объем работ? Ну, хорошо, грунт можно поставить по самой высокой категории тяжести. Это что-то даст, хотя совсем немного. Транспортировка горбыля. Увеличим до ста метров. Объем строительного мусора также можно удвоить. И все равно этого мало... О, черт! Постой, постой, а что, если... что, если...

Телефонный звонок обрывает зоринские комбинации. Звонит Воробьев. Так. Все ясно, в семнадцать тридцать совещание у начальника управления. То бишь у Воробьева, так как он замначальника, а сам начальник в отпуске. Что? Буду ли? Конечно, буду. Попробуй не будь. Ты же сам закатаешь выговор, если не прийти. Для того ты и Воробьев. Без этого ты никакой и не Воробьев.

Зорин кромсает бумажку с денежными наметками и бросает ее в чугунную печку. Так. Печка, как обычно, полна пустых чекушек. Зорин знает: ругаться бесполезно. «Но боже мой, когда это кончится?» — «Что — когда?» — «Ну, это...» — «Э, брось. А кто вчера восхищался рислингом? Чуть ли не до двух ночи?» — «Но это же не на работе». — «Велика разница...» — «Конечно, большая».

Однако это последнее утверждение не спасает его от угрызений совести. Продолжая ругать себя за вчерашнее, он выходит из тепляка. Надо сходить еще и на второй объект. На его совести еще трасса водопровода. У Зорина болит душа: вчера еле-еле справились с пльвуном. Грунт ползет и ползет. Скоро весна. Погода опять отмякла. «Что же, будем бить шпунт,— думает он.— Но откуда там грунтовые воды?»

Он окидывает глазами свой сорокаквартирный. Кажется,

все идет своим ходом. Каменщикам работы дня на два, не более. Штукатуры работают, значит, и плотники с лесами не прозевали. Лебедка трещит, молодец парнишка, право, молодец. Совсем салага. Еще совсем не прочь полюбоваться из-под лесов девчоночьими рейтузами, но молодец, подключил-таки эту норовистую лебедку. Гришка Чарский стоит у лебедки, подает раствор на леса первого этажа. Трошина сосредоточенно выбивает из ведра присохший раствор.

Зорин глядит на смуглую горбоносую физиономию Гришки и еле удерживается от улыбки. Но эта не родившаяся улыбка не ускользает от наглых, всевидящих глаз Тольки Букина.

— Гришк, а Гришк,— кричит Букин.— Гришка, скажи хасиям!

Паршивец этот полублатной Букин. Даже при Зорине он сидит, покуривает. Презирает мозоли. Кого только не перебивало в трошинской бригаде! Букин — бывший вор, сидел трижды. Теперь вот перевоспитывается в коллективе. Еще неизвестно, кто кого перевоспитает. Букин демонстративно сидит, напевает:

На стройку буду высоко глядеть,  
Пусть на ней работает медведь,  
У него четыре лапы,  
Пусть берет кирку — лопату...

— Послушай, Букин...— Зорин закуривает, чтобы не взбеситься.

Он не знает, что сказать этому сачку. Сказать, что уволит? Но это все равно что слону дробина.

— Хасиям! Начальничек, береги нервы! — Букин нехотя идет к раствору ящику.

Зорин знает, что одна Трошина как-то ухитряется держать Букина в руках. А, черт с ним, с Букиным! Зорин отворачивается. Злость тут же исчезает: Таня Синицына, тоже из трошинской бригады, поддерживает Зорина хорошим сочувственным взглядом, одергивает платье. Не поступила осенью в институт, пошла на стройку. Зорин знает, каково ей в этой бригаде, но что он может сделать? Одно слово, хасиям. В самом деле, что такое хасиям? Выходя на улицу, Зорин вспоминает историю с Гришкой Чарским.

Как-то перегрелся и задымил мотор лебедки. Гришка перепугался и крикнул: «Хасиям!» Мотор дымился, а этот

подонок Букин орет Гришке, чтобы гасил быстрее, а то будет пожар. Гришка, не будь дураком, расстегнул ширинку и начал гасить мотор подручными средствами. Женщин по близости не было. Букин, вместо того чтобы выключить рубильник, стоит и показывает, где надо поливать. И Гришка поливал, пока не заземлил сеть, потом заорал благим матом и начал корчиться от боли. Букин пошел объясняться в милицию, но там только посмеялись, и все обошлось благополучно. Для обоих... Интересно, что такое хасиям?

Зорин спешит на второй объект. Здесь тоже все идет нормально. Еще вчера подвезли шпунтованную доску, плывун остановлен. Рабочие углубляют траншею, рядом водопроводчики монтируют задвижку Лудло. На работу явились все. Излишняя опека и заботливость, когда работа идет хорошо, так же вредна, как равнодушие во времена неполадок. Лучше уйти и не сбивать людей с рабочего ритма. Зорин знает это и, перекинувшись с бригадиром двумя фразами, бежит в контору: в столе Мишки Фридбурга давно ждет техническая документация на новый шестидесятиквартирный. Завтра, самое позднее послезавтра, надо начинать закладку.

Да, но что же такое хасиям?

2

Хорошо. Очень хорошо на душе, можно еще поспать, даже подремать. Куда торопиться? Не хватает только кота, чтобы мурлыкал под боком. И еще не хватает Ляльки. Ляльку бы сюда, она так любит щекотать Зорину нос по воскресным утрам. Но Лялька сейчас в садике, и Зорин открывает глаза. Здесь так удобно, спокойно, никто не видит его. Потому что старинное, еще купеческое кресло стоит между двумя шкафами, а спереди Зорина маскирует широкая спина Сашки Голубева. Мишка Фридбург тоже сидит впереди и, кажется, забыл о своей угрозе. Еще с утра, по телефону, он обещал выдвинуть Зорина в президиум. Нет, Фридбург молчит, хотя в прошлый раз он все же писал протокол. По милости Зорина. Ах вот в чем дело! Сегодня же производственное совещание идет без президиума. Большая комната ПТО, модернизированные столы. Старые стулья, их еще не успели заменить новыми. Фридбург уткнулся в журнал и бормочет что-то насчет курения. «В Америке упал спрос на сигареты». — «Ну и что?» — обо-

рачивается Голубев. «У нас тоже на днях упадет». — «Что упадет?» — «Этот самый... спрос. Воробей запретил курить в помещениях...» — «Кто? — Зорин с трудом открывает веки. — Кто запретил-то?» — «Пушкин. Александр Сергеевич... Можешь проверить, — говорит Фридбург и предлагает Зорину «Шипку». — Да, тебе звонила жена. Просила передать, что у нее тоже собрание. А чем она хуже?» — «Ладно, у же усек».

Зорин хмуро соображает. Если Тоня задержится, Ляльку в садике опять будут держать два часа одетой. И внушать, какие плохие у нее родители. Голос Воробьева бубнит ровно, как по программе. Производственный план на третьем участке под угрозой... Необходимо повысить производственную дисциплину... И тэ дэ и тэ пэ. Что? Некоторые... Ну да, все ясно. Некоторые командиры производства сами нарушают производственную дисциплину. Зорин... Что Зорин?

— Товарищ Зорин, прошу написать объяснительную записку, почему вновь опоздали на производство?

Фридбург вытаскивает авторучку и тихонько предлагает Зорину:

— Старик, не затягивай...

— Мишка, знаешь, иди ты, — Зорин встает. — Но я не опаздывал!

— Я, товарищ Зорин, вам слова не давал, — голос Воробьева слегка повышается. — Имейте, в конце концов, хоть каплю выдержки.

Зорин садится, вспоминая второй зарок.

«В сущности, — думает он, — в сущности, чего мне всегда не хватает, так это юмора. Помалкивай, оправдываться бесполезно. И слишком много чести для Воробьева».

Зорин сидит в купеческом кресле и слушает дальше. Берет со шкафа расколотую облицовочную плитку и осторожно опускает ее в широкий карман голубевского пиджака. Это ему в обмен на машину нестандартных тройников. Пусть отвезет домой и подарит любимой жене. Нет, черт возьми, у Голубева получилось намного остроумнее. Надо же так ухитриться? Сплавить ему, Зорину, целую машину бракованных тройников!

— Сашка, а Сашка, — Зорин тычет Голубева ниже пояса. — Дай трояк до понедельника. Или помоги обработать Фридбурга.

— Зачем?

— Не твое дело.

— У меня всего два рубля.

— Давай два.

Зорин берет деньги и глядит на часы: садик закрывается через тридцать минут. Если сразу поймать такси, то, может быть, Лялька не расплатится. Он опоздает на полчаса, не больше. Сейчас Воробьев переключится на шестой участок и наверняка выдохнется. За стенкой, в коридоре, уборщица уже брякает ведрами. Зорин прикидывает, где лучше изловить такси и как побыстрее миновать Фридбурга с Голубевым.

Все. Наконец-то Воробьев закрывает совещание, гром от передвигаемых стульев заполняет комнату ПТО, и Зорин, салютуя Фридбургу с Голубевым, устремляется в коридор.

— Товарищ Зорин, одну минуту! — слышится голос Воробьева. — Прошу задержаться.

— Еще чего не хватало!

— Садитесь. — Воробьев, не глядя на Зорина, гладит ладонью папку.

Зорин не садится, глядит.

— Я опаздываю.

— Куда? — спрашивает Воробьев.

— Какое вам дело?

— Я прошу вас не грубить, товарищ Зорин! Сядьте и выслушайте внимательно.

— Что выслушать?

— А вот что. — Воробьев берет из папки какой-то листок. — Вот что. Поступил сигнал о вашем недостойном поведении в быту и в семье. Я вынужден передать его в местком и партком треста...

— Интересно, — Зорин чувствует, как у него начинает дергаться височная жилка. — А кто, собственно, сигналил? И в чем это недостойное поведение?

Зорин глядит на листок и еле сдерживает свое бешенство. Почерк до того знаком, что от обиды в горле появляется спазма, ладони потеют. Зорин вновь, как и утром, ловит себя на том, что ему жаль самого себя.

— Все?

— Все. Можете идти.

Зорин, не помня себя, хлопает дверью. Нет, от Тоньки он никогда не ожидал такого предательства. Жена, называется. Ну, хорошо... Что хорошо? «...вынужден передать в местком и партком...» Дура! Подлая дура. Вместо того чтобы...

— Але, Фридбург!

Фридбург еще не успел уехать.

— Есть у тебя деньги? — Зорин в бешенстве бросает окурочек.— Дай мне червонец взаймы...

— Брось, старик. Начхай на все...

— Есть у тебя сколько-нибудь денег?

— Пожалуйста.

Зорин комкает в кулаке две новые пятерки и, скрипнув зубами, быстро уходит из управления.

«Где-то тут кафе, эта дурацкая «Смешинка»,— мелькает в голове Зорина.— Все шалманы окрещены по-новому. где-то тут эта самая «Смешинка»...»

В «Смешинке» продажа водки запрещена, но «перцовки» хоть отбавляй. Зорин садится за столик и чувствует, что ему хочется заплакать от горечи. Он хочет заплакать, разреветься, как тогда, в отрочестве, в коридоре районного загса. Но он тут же издевается над своим желанием и хохочет внутренним хохотом. Нет, это просто великолепно! Это просто здорово, что ему даже не разреветься. Никогда, никогда, никогда не разреветься! Официантка подходит к нему, но он вдруг вспоминает про Ляльку, и жалость к дочке стремительно охватывает его, жалость и боль за ее беззащитность. Зорин выбегает на улицу. Через полчаса он врывается в прихожую детского садика, и у него сжимается сердце.

Лялька сидит одна, на полу в уголке. Одетая. Она уже устала плакать и теперь только тихонько вздрагивает. Толстая уборщица со шваброй выглядывает в дверь, с равнодушным любопытством глядит на Зорина, произносит:

— Как только не стыдно людям.

Зорин молча утирает у Ляльки нос, застегивает кофточку.

— Прилично одетый! — слышится в коридоре.

О, женщины! Однажды ему вспомнилось, как в деревне какой-то бродячий корреспондент сфотографировал бригаду доярок. Через полгода, ко всеобщему изумлению, почтальонка прямо на ферму принесла конверт со снимками. На них ничего нельзя было разобрать. Зорин возил тогда молоко, он слышал, как одна из доярок приговаривала: «Девки, девки, до чего добро вышли-то, а которая я-то?» Теперь с каждым узором причудливой женской логики ему вспоминается почему-то именно эта фраза.

Они выходят из садика на крыльцо, и он берет Ляльку на руки. Вздохнув долгим судорожным вздохом, девоч-

ка успокаивается, а Зорин, скрипнув зубами, крепко прижимается щекой к ее ручонке: «Ничего, Лялька, ничего. Сейчас мы придем домой. Снимем валенки и поставим чайник. Что? Хочешь писать? Сейчас, Лялька, сейчас. Вот, мы уже дома. Хочешь идти ножками? Что ж, давай пойдём ножками...»

В квартире тот же утренний кавардак.

— А где мама Тоня? — Лялька прыгает, примеряет у зеркала мамину шляпу.

— Папа, смотри.

— Да?

— Я уже до шляпы выросла.

«Да, Лялька, ты уже выросла. Ты уж совсем большая. Если б ты знала, с каким трудом устраивали тебя в это детское заведение, ты бы никогда не плакала, ты бы только и делала, что плясала и пела. Лялька, а где же у нас мама Тоня? Если б ты мне не стала мешать, я бы закрыл сегодня наряды. Слышь, Лялька? Мы не будем ждать маму Тоню. Ты сейчас поешь немножко и будешь спать. Ну вот, умница. Ты будешь спать, а папа будет делать наряды. Что? Конечно, красивые. Как у мамы. Впрочем, нет, это совсем другие наряды».

Но Лялька не засыпает, она дожидается маму Тоню.

Мама Тоня является в двадцать два ноль-ноль.

— Тоня, я тебе никогда этого не прощу, — говорит Зорин, бледнея и сидя в кресле.

— Что не прощу, что не прощу! — Она не забыла, уходя из библиотеки, подмазать губы.

— Ты еще и доносы на меня пишешь...

— Тебя посадить мало!

— Да?

Он встает, открывает форточку, закуривает.

«Накрасить губы она не забыла...— думает он.— Но строительный справочник снова не принесла. Хотя сама работает на абонементе». Этот дурацкий справочник она обещает ему уже второй месяц...

Внутри у него все кипит, но он вновь вспоминает второй зарок. С усилием переводит дыхание, гасит в себе злобное раздражение и говорит:

— Надеюсь, собрание было активным?

Жена — библиотечный профорг — не замечает язвительности вопроса. Она энергично орудует в квартире: развешивает разбросанную одежду, подбирает игрушки. Затем начинает греметь на кухне посудой. Зорин загадывает:

«Если ее фантазия пойдет дальше пельменей... все в порядке. Мир в семье восстановлен. Черт с ним, с этим ее письмом! Пройдет и это... Вызовут на местком, прочитают конспект лекции на моральную тему... Переживем».

Зорин сам себе, мысленно, произносит этот монолог. Но он чувствует, что где-то под левой лопаткой вновь копится боль, обида и горечь. Почему она всю жизнь борется с ним? Когда это началось? Она всегда, всегда противопоставляет его себе. В каждом его действии она видит угрозу своей независимости. Он все время стремится к близости, к откровенности. Но она словно избегает этой близости и всегда держит его на расстоянии.

Его размышления прерывает Лялька. Она капризничает, хныкает. Зорин кладет ладонь на родимую светлую головушку и вдруг ужасается: голова девочки горячая, словно нагретый камешек. По городу вновь ходит жуткий грипп, то ли гонконгский, то ли иранский. Хотя б одну зиму прожить без этой мерзости!

— Тоня, где у нас градусник?

— Собирай девочку, идем гулять, — слышно из кухни. — Ешь пельмени без нас, пей чай.

«Ясно, — думает Зорин. — Ты опять поужинала в библиотечном буфете. Обедают они всем гамузом в ресторане, ужинают в буфете. Кухня закрепощает женщину...»

— У Ляльки температура.

— Собирайся, надень валеночки.

— Тоня!

— А где у тебя варежки? Дрянь такая, ты почему не слушаешь?

Жена как бы не замечает Зорина. Она одевает ревушую Ляльку, которую нужно ежедневно водить гулять перед сном. Она воспитывает ее по доктору Споку. «Спок, будь Спок, — мысленно острит Зорин. — От Спока тут ничего уже не осталось».

— Тоня, гулять вы не пойдете!

— Да? — она научилась этому «да?» у него же. — Пожалуйста, не мешай. Девочка вполне здорова. Не забудь выключить газ, мы вернемся через двадцать минут.

Зорин, в отчаянии сжав кулаки, начинает метаться по комнате. Лялкин плач выворачивает ему всю душу, спокойствие жены приводит его в бешенство. Второй раз за вечер он усилием воли переламывает себя и глядит на часы.

Двадцать минут одиннадцатого. В соседней квартире все еще слышатся магнитофонные вопли. Чайник парит



на конфорке, пельмени остывают в кастрюле. Писать наряды в таком состоянии все равно что плясать босиком. Но он раскладывает на кухне бумаги, достает логарифмическую линейку и затрепанную книжку со строительными расценками.

Жена и дочка приходят с улицы и вскоре затихают в маленькой комнате.

Зорин ложится в четвертом часу, и снова на раскладушке. Едва поставив будильник, он словно проваливается в какую-то багровую бездну.

Рабочий день кончен.

### 3

Крановщик Козлов, крича что-то насчет квартиры, пришел на объект пьяный. Зорин не мог допустить его к работе. Козлов с шумом исчез. Зорину надо было открывать третий объект: экскаватор уже тарахтел на месте будущего котлована фундамента. Пустой деревянный дом на стройплощадке необходимо было сносить своими силами. Зорин отправил плотников ломать дом, вызвал бульдозер. Когда плотники полезли выставлять рамы, из средней комнаты послышался голос:

— Только попробуйте!

Плотники по очереди посмотрели в комнату. Посреди пола, свернув калачом ноги, сидел Козлов и разбирал старый будильник. С одного боку у него стоял чемодан, с другого лежал свернутый полосатый матрас.

— Вылезай, Козлов! — предложил бригадир. — Чего ты тут уселся как турецкий султан?

Козлов заявил, что будет тут ночевать. Он не выйдет из дома, пока не выпишут ордер на жилье. Он, мол, ждет квартиру восьмой год и законы знает: никто не посмеет выгнать из этой развалюхи.

Зорину доложили обо всем этом.

— Он что, чокнулся?

Черт знает что! Этого в его практике еще не было. Это что-то новое. Зорину смешно. Почему-то вспомнился Ави-нер Козонков с его пенсионной документацией, с необъяснимой манерой говорить серьезные слова. Директивка, процедура, дисциплинка. Какую директивку должен дать в этом случае он, Зорин? Лицедействующий Козлов закрыл дверь изнутри, а плотники не знают, что делать. И ждут зоринских указаний.

«Нет уж, хватит,— твердо решает Зорин.— Пусть занимается Козловым сам Воробьев, милиция, горисполком, папа римский. Кто угодно. Он инженер, прораб. Почему он должен заниматься такой ерундой?»

Телефон звонит, предупреждая зоринское желание позвонить.

— Да. Прораб Зорин слушает. Что? Из детского садика? — На лбу Зорина сразу выступает испарина.— Температура, а, девушка, сколько температура?

Но «девушка» повесила трубку. Подспудный страх, все утро точивший Зорина, сжимает горло, картины, одна другой хуже, всплывают перед глазами. Он ясно представляет сейчас, что там творится: больная, в жару, дочка сидит где-нибудь в уголке и плачет. Может быть, она даже мокрая. На нее никто не смотрит. Да, он знает тамошние порядки. Дрожащей рукой он набирает телефон библиотеки: «Але? Позовите Зорину Антонину, Зорину, я сказал! Что, не грубить? Кто из нас грубит, не понимаю».

Телефон пищит короткими раздражающими гудками. Зорин, выругавшись, выбегает из тепляка. Автобус, идущий через городской центр, почти пустой, он, кажется Зорину, не едет, а крадется по черным мартовским улицам. Пятака, как обычно, нет. Зорин опускает в кассу двугривенный, отрывает билет и с горечью вспоминает вчерашнее. Он выбросил бы этого Спока к чертовой матери! Впрочем, при чем тут Спок? Она слушает всех, кроме собственного мужа. Даже безграмотных бабок. Каждое его слово встречается в штыки. Она готова поступиться даже здоровьем ребенка, лишь бы сделать по-своему. То есть вопреки ему, Зорину...

Большое красивое здание библиотеки вызывает в нем отголосок волнующего забытого чувства: когда-то он мечтал защитить диссертацию. Люди, сидящие в тишине громадного зала, — счастливые люди. Он завидует им. Сразу после института он провел здесь с десятков изумительных вечеров. Так же, как они, он вбегал когда-то по этим широким ступеням, а поздним вечером, не торопясь и смакуя движения, возвращался домой. Куда все это исчезло? Теперь у него нет времени читать даже периодику.

Он заходит на абонемент не раздеваясь, ищет взглядом жену, но ее нет за стойкой. Вместо нее там стоит ее напарница. Зорин видит, как она кокетничает и строит глазки молодому читателю с черной бородкой шкипера: «Вы знаете, мне не нравится Фолкнер,— «шкипер» задумчиво рас-

писывается в формуляре.— Старомодность, простите».— «Да?»— «И потом, эта заумь и длиннейшие периоды...»

Зорина на минуту охватывает ревность. Он представляет свою жену вот такой же, любезничающей с этим холеным пижоном. Сейчас она так же, снизу вверх смотрела бы в рот этому типу, поддакивала и сводила брови в показной задумчивости.

— Позовите мне Тоню.

Девушка с любопытством оглядывает Зорина:

— Ее сейчас нет. А что ей передать? Ее вызвали в обком союза.

— Скажите, был муж. Еще скажите, что заболела дочь.

Зорин вылетает из библиотеки как пробка. У него еще хватает терпения найти телефон-автомат и выпросить в ближайшем магазине монету. Он звонит в управление и чуть не бегом стремится в садик-ясли, это не далеко, всего около трех кварталов. Не слушая вчерашнюю тетку-уборщицу, он скидывает полушубок в прихожей, вбегает в ясельный коридор, хватается за локоть няню. Она торопливо объясняет ему что-то насчет врача. Затем выносит вздрагивающую Ляльку:

— Сразу же вызовите врача.

— А у вас? Разве у вас нет врача?

— Она сказала, чтобы девочку унесли домой и чтобы участкового врача вызвали.

Девочка глядит на отца мутными беспомощными глазенками, веки ее как-то странно коробятся. Она тяжело дышит, из носа у нее течет, она даже не может стоять на ножках.

«Доча, доча... Ну, что ты.— Зорин с трудом одевает Ляльку.— Участкового... Вам бы только сплавить ребенка... Вы... вы...»

Он не находит слов. Заворачивает девочку в полушубок и, оставшись в одном свитере, уносит ее домой.

— Это ты виноват! Сколько раз тебе говорила, чтобы не давал конфет? Пьет, пьет после этого...

— Значит, я...

— Тысячу раз просила!

— Ну, хорошо, пусть я! Пусть. Но сделай же ей что-нибудь... Аспирин, что ли!..

Лялька в беспомысленности шевелится в своей кровати,

ворочает раскаленной головенкой. Зовет маму. Зорин не может смотреть на все это, он готов разреветься. Он во второй раз бежит на телефон-автомат. Равнодушный ко всему голос отвечает ему: «Товарищ, я же сказала, врач придет. Вы знаете, сколько вызовов?..»

Ему страшно возвращаться на третий этаж. Он открывает дверь, топчется в комнате, затем опять выходит на площадку. Его уже тошнит от этого гнусного «Опала». Зорин с отвращением душит огонь сигареты. «Что делать? Что же делать...» В мозгу почему-то назойливо крутится мотив пошлой эстрадной песенки. Соседки вдруг проникаются искренним сочувствием, и он, благодарный, прощает им все прошлые подглядывания и подслушивания. Одна предлагает сушеной малины, другая несет какие-то таблетки.

Врачиха в сопровождении сестры наконец поднимается по лестнице. Они торопливо моют руки, достают шприц. Зорин не может вытерпеть этого зрелища... Они бесцеремонно поворачивают девочку на живот, обнажают попку, и Зорин почти физически сам ощущает, как игла впиывается в Лялькино тело...

Врач выписывает какую-то бумажку и сует Зорину.

— Если будут судороги, вызывайте «скорую помощь». Я выписала на всякий случай направление в больницу...

Сестра и врач так же торопливо спускаются по лестнице. Зорин беспомощно глядит им вслед: «На всякий случай... Это же чистейшая перестраховка. Здоровье ребенка на втором плане, ей важнее бумажкой снять с себя ответственность. Ей не хочется ни за что отвечать».

Бессонная ночь проходит жутким бесконечным кошмаром. Утром является та же врачиха, она вызывает по соседскому телефону машину. Девочку вместе с женой увозят в больницу. Зорин остается один. В стихшей осиротевшей квартире, как лунатик, он бродит по комнатам. При виде розовой Лялькиной кофточки он ощущает такой страх, такую жгучую боль, что закрывает глаза. Он машинально берет полушубок, хватается за карманы. Две новых пятерки, зажатые в кулаке, приводят его ко вчерашней «Смешинке», он просит официантку принести ему бутылку «рислинга». Но «рислинга» нет сегодня, и он пьет отвратительную теплую «перцовку». Странно, ему не становится от этого легче. Он заказывает еще, делает несколько глотков и вдруг мысленно, четко произносит сам себе: «Ты сейчас же едешь в больницу, сейчас же».

Он рассчитывается и идет вон.

Ночной, уже очищенный от машинных газов воздух охватывает похудевшее лицо Зорина, город мерцает бесчисленными желтыми точками. На улице совсем пустынно.

К остановке такси одновременно с Зориным подходят трое длинных волосатых мальчишек. Они бренчат на гитарах и поют что-то удивительно бессмысленное, колотят по гитаре ладонью и поют. Голоса у них, как у молодых петухов, еще со скрипом. Парни явно навеселе. «Современные менестрели...— думает Зорин.— Им ни до чего нет дела».

— Эй, дядя, а ну отвали! — парень с гитарой вразвалку идет к машине.

Зорин садится в такси, но один из парней открывает дверцу:

— А ну, рви отсюда.

— Что?

— Рви, говорю, отсюда!

Зорин выходит из машины и смотрит на юную, едва знакомую с бритвой физиономию:

— Что?

— Я сказал, чтобы ты отвалил.

— А я что-то не помню, когда мы пили на брудершафт.— Зорин снова берется за ручку машины.

Парень несильно бьет его по руке. Двое других, улыбаясь, глядят на Зорина. Он берет парня за руку и сжимает до хруста, с ненавистью глядит в чистое, без единого прыщика лицо:

— Послушайте, вы...

Сильный удар сзади, в голову, чуть не сбивает Зорина с ног. Он успевает повернуться, но второй удар, уже в лицо, ослепляет его. Зорин инстинктивно, по памяти, изо всех сил сует кулаком в пространство, но удар лишь скользит по какому-то подбородку. Слышится заливиственный свисток милиционера. Зорин видит, как парни убегают во двор, он бежит за ними, но второй милиционер хватает его и выворачивает назад руки... Его толкают в коляску мотоцикла. На секунду Зорину становится почему-то смешно...

— Товарищ сержант!

Сержант, не отываясь, пытается завести мотоцикл.

Зорин вновь говорит:

— А товарищ сержант?

— Сиди, сиди.

— Вы что, одного меня!

Сержант не отзывается. Мотоцикл фыркает, и Зорину кажется, что он сейчас сойдет с ума. Он поворачивается, взглядом ищет глаза шофера такси:

— Слушай, дружище, ты же видел, слушай...

Шофер отводит свой взгляд, его машина фыркает и разворачивается.

Зорин крепко сжимает челюсти:

— Гады... сволочи...

— Сиди, сиди,— говорит милиционер.— Ишь какой петух!

В отделении один из милиционеров заполняет типографский бланк протокола и, не глядя на Зорина, выходит из комнаты. Старшина, сидящий за деревянным барьером, разговаривает с кем-то по телефону. Зорин терпеливо ждет.

— Товарищ старшина, почему меня задержали?

— Потому что окончание на «у». Подпиши протокол.

Зорин читает протокол и возвращает его старшине:

— Здесь все не так. Я не могу подписать...

Старшина невозмутимо выходит куда-то в коридор. Зорин провожает его насмешливым взглядом и остается в дежурке совершенно один. Он ждет пять, десять минут, но на него никто не обращает внимания.

Наконец старшина появляется в комнате:

— В последний раз спрашиваю...

— Что?

— Подпишешь или нет?

— Нет.

— Ну хорошо.— Старшина поднимается за барьером.— Сержант Федорчук!

— Я прошу позвать дежурного офицера,— говорит Зорин как можно спокойнее.

— Дежурный занят! — взрывается старшина, переходя на крик.— Законник какой! Меньше пить надо. И хулиганить на улицах!

— Я не хулиганил. Позовите, пожалуйста, дежурного офицера.

— Федорчук!

Сержант Федорчук появляется в дежурной комнате.

— Федорчук, отвезешь его в медвытрезвитель. Пусть пофорсит стриженным. Дежурного, видите ли, ему...

— Пошли.— Федорчук крепко берет Зорина за локоть.

Краска заливает Зорину лицо, уши и шею, он отстраняет сержанта и подходит к барьеру... В это же время а

комнате появляется дежурный офицер — совсем еще молодой лейтенант:

— Федорчук, в чем дело?

— Сопrotивление, товарищ лейтенант.

— Пьяный,— добавляет старшина.— Учинил драку на улице, протокол не подписывает.

— Я не пьян! — Зорин собирает в комок всю свою и без того небогатую выдержку.— И драку начал не я. Товарищ лейтенант...

— Сядьте! — лейтенант читает зоринский протокол.— Так. Придется вам посидеть суток десять. Где вы работаете?

— Разве это имеет какое-то значение? При таких обстоятельствах...

Лейтенант окидывает Зорина оценивающим взглядом, в это время в комнату дежурного кто-то громко стучит.

— Да, войдите,— лейтенант закуривает. В дежурку входит давешний таксист, и Зорин с презрением смотрит ему в глаза.

— Товарищ дежурный,— слышит Зорин голос шофера.— Он же не виноват.

— А вы кто такой?

— Я же видел, он не виноват.

— А вы кто такой?

— Я же видел, он не виноват.

— Федорчук, одну минуту...

Зорин выходит из отделения вместе с таксистом. Левый глаз совсем заволкло опухолью, во рту горько от табачной кислоты, но горловый комок понемногу рассасывается и исчезает.

— Садись, свезу куда надо,— приглашает шофер.— Здорово они тебя?

— Кто? — Зорин садится рядом с таксистом.

— Да эти, сопляки-то.

— Ничего.

— Откуда только берутся,— таксист долго жмет на стартер.— Как клопы... А ты извини, у меня вызов был. Не мог сразу ехать с тобой.

— Спасибо.— Зорин глядит на часы. Как ни странно, а на все происшествие вместе с этой дурацкой «Смешинкой» ушло всего полтора часа.— Спасибо...

— Ладно, чего там. Давай, будь здоров.

Зорин выходит около детской больницы. Он забегают в больничные подъезды, разыскивает телефон и поочередно звонит на оба терапевтических отделения: «Але? Да. Девочка. Поступила сегодня. Что? Без изменений? А мать? Скажите, мать с ней?»

В его ушах еще долго стоит разноголосый детский плач и крик, услышанный из отделения по телефону. Зорин вновь совершенно рестерян: «Она ушла ночевать домой. Там Лялька одна, в жару и в бреду, а жена ушла ночевать домой...» Он долго ходит вокруг больницы, смотрит на непотухающие окна громадного пятиэтажного здания.

#### 4

Весна прет без разбора из-под каждой городской подворотни, из каждого скверика. Водоприемники, не успевая глотать мутную воду, захлебываются, принимают в свои недра зимнюю грязь. В центре уже сохнет асфальт и ничто не напоминает о бесконечной зиме, зато на окраинах и задворках заглавных улиц не пройдешь, везде жижа из грязи и серого снега.

На объектах повсюду вытаивают зимние строительные грехи: там полмешка цемента, тут куча расколотого кирпича или коричневой звукоизоляционной ваты. Зорин смотрит на все это с легким стыдом: это под его чутким руководством разбросаны на стройплощадках денежные обрезки. А что он мог сделать? Не будешь же стоять у каждого самосвала, когда возят кирпич. Никогда не научишь Букина тому, что не стоит выписывать новые рукавицы, если на старых ни одной дырки. А разве можно убедить Трошину в том, что раствор нельзя оставлять в ящике до утра? Хоть ящик, хоть пол-ящика, а как только стукнет пять часиков, она вываливает остатки прямо на грунт. Привезут нового, жалеть нечего. На каждом собрании и летучке Зорину твердят о плане и графике. Скорей, скорей, только бы сдать дом, тут не до экономии, лишь бы спихнуть объект приемной комиссии.

У него голова поседела от этих объектов. И все-таки воздух пахнет тающим снегом, небо над городом синее, словно в детстве, и все везде тепло, солнечно, даже в прое-



— Ладно, чего там. Давай, будь здоров.

Зорин выходит около детской больницы. Он забегают в больничный подъезд, разыскивает телефон и поочередно звонит на оба терапевтических отделения: «Але? Да. Девочка. Поступила сегодня. Что? Без изменений? А мать? Скажите, мать с ней?»

В его ушах еще долго стоит разноголосый детский плач и крик, услышанный из отделения по телефону. Зорин вновь совершенно рестерян: «Она ушла ночевать домой. Там Лялька одна, в жару и в бреду, а жена ушла ночевать домой...» Он долго ходит вокруг больницы, смотрит на непотухающие окна громадного пятиэтажного здания.

4

Весна прет без разбора из-под каждой городской подворотни, из каждого скверика. Водоприемники, не успевая глотать мутную воду, захлебываются, принимают в свои недра зимнюю грязь. В центре уже сохнет асфальт и ничто не напоминает о бесконечной зиме, зато на окраинах и задворках заглавных улиц не пройдешь, везде жижа из грязи и серого снега.

На объектах повсюду вытаивают зимние строительные грехи: там полмешка цемента, тут куча расколотого кирпича или коричневой звукоизоляционной ваты. Зорин смотрит на все это с легким стыдом: это под его чутким руководством разбросаны на стройплощадках денежные обрезки. А что он мог сделать? Не будешь же стоять у каждого самосвала, когда возят кирпич. Никогда не научишь Букина тому, что не стоит выписывать новые рукавицы, если на старых ни одной дырки. А разве можно убедить Трошину в том, что раствор нельзя оставлять в ящике до утра? Хоть ящик, хоть пол-ящика, а как только стукнет пять часиков, она вываливает остатки прямо на грунт. Привезут нового, жалеть нечего. На каждом собрании и летучке Зорину твердят о плане и графике. Скорей, скорей, только бы сдать дом, тут не до экономии, лишь бы спихнуть объект приемной комиссии.

У него голова поседела от этих объектов. И все-таки воздух пахнет тающим снегом, небо над городом синее, словно в детстве, и все везде тепло, солнечно, даже в прое-

мах холодного шестидесятиквартирного, где еще свищут зимние пронизывающие сквозняки.

Надо бы сменить полушубок на пальто. Но Зорин уже больше недели не ходит домой. После очередной жестокой ссоры, завершившейся пощечиной жене, он ушел ночевать в тепляк. Фридбург на своем залатанном «Москвиче» увез Зорина к себе домой. Но после двух ночей, проведенных в чинной, фальшиво-доброжелательной атмосфере еврейской семьи, Зорин ушел ночевать к дяде Паше, а вчера перебрался к Сашке Голубеву: было стыдно ночевать у других больше двух раз. И все же сегодня у него хорошо на душе. Хорошо, потому что завтра Ляльку выпишут из больницы. Дочка пролежала там чуть ли не месяц, у нее было воспаление обоих легких.

Сорокаквартирный давно сдан, крановщик Козлов получил в нем квартиру, а Трошина, проведав о зоринских семейных делах, уже не матерится, по крайней мере при нем.

Да, все идет своим чередом. И не беда, что Сашку Голубева оштрафовали вчера за то, что его самосвалы развозят по городу грязь, а его, Зорина, вызывают сегодня на административную комиссию.

Это результат все еще того вечера. Или того письма, которое Тонька послала на производство? Зорин гадает и прикидывает, ему чуть грустно, но больше смешно. Он было уже решил не ходить на комиссию, пусть бы штрафовали, как Сашку Голубева, но ему любопытно, что там будет.

Он собирает в тепляке бригадиров и дает им задание на завтра. Смотрит на часы и, не торопясь, уходит с объекта. Еще есть время поесть в этой злополучной «Смешинке». Он заказывает рубленый бифштекс, с аппетитом съедает картофельное пюре. И улыбается: Сашка Голубев сказал бы сейчас, что крахмал придает твердость одним только воротничкам и манжетам.

Зорин является на комиссию из минуты в минуту. Человек пятнадцать мужчин его, зоринского. возраста выдвигают предложения, обмениваются мнениями. Кое-кто пытается юмором загладить неловкость и шутками компенсировать запрещение курить.

— А не взятяжку-то можно?

Вероятно, посетители вызываются по алфавиту. Зорин слышит свою фамилию и заходит в большую комнату, пропахшую табачной золой и бумажной пылью. Он

садится у двери, но тут же встает, чтобы отвечать на вопросы.

— Вы у Кузнецова работаете?

— Да.

— Оно и видно, каков поп, таков и приход.

Зорин внутренне взрывается, ему обидно за своего начальника, но он молчит, вспоминая второй зарок. Семь членов административной комиссии сидят по обеим сторонам стола, покрытого листами цветной бумаги. Красный уголок штаба народных дружин, где заседает комиссия, пропах табачной золой начисто, и от этого курить хочется больше.

— Продолжим, товарищи,— говорит председательствующий.— У кого есть вопросы?

— Разрешите, товарищ Табаков, у меня к нему вопросик.

— Пожалуйста.

Наголо обритый дедушка достает карандаш из нагрудного кармана диагоналевого, с глухим воротом, кителя.

— Во-первых, где и как напился. Во-вторых, с кем, в-третьих, как думаешь дальше. Встань, расскажи.

Зорин чувствует, как жилка опять играет у него на виске.

— Во-первых, обращайтесь со мной на «вы», во-вторых...

Поднимается шум:

— Безобразие, как он себя ведет?!

— Не забывайте, где вы находитесь!

— Кто кого здесь разбирает?

— Вы посмотрите, он еще и улыбается!

Председательствующий стучит карандашом по графину:

— Товарищ Зорин, вы будете отвечать на вопросы?

— Буду,— Зорин смотрит прямо в переносицу председателя комиссии Табакова.— Но я бы хотел, чтобы со мной обращались на «вы». Я не мальчишка...

За столом вновь прокатывается рокот искреннего возмущения. Дедушка в кители кладет карандаш и, качая головой, с горькой иронией обиженного говорит:

— А кто же вы, товарищ Зорин? Вы же мне во внуки ходите, ты же еще без штанов бегал, когда я...

— Да что с ним разговаривать?

— Распустились, ни стыда, ни совести!

— Ну, хорошо,— Табаков снова стучит по графину,— прошу внимания!

Зорин видит, как Табаков старчески суетливым движением складывает носовой платок и аккуратно прячет в карман. Бритый дедушка укладывает очки в футляр. Зорин замечает, что дужка очков сломана и замотана какой-то тряпочкой. Девушка-секретарша с высокой, пузырем, прической невозмутимо пишет протокол... Толстая пожилая женщина возмущенно хрустит пальцами: Зорин ясно видит бородавку на ее подбородке и мучительно вспоминает что-то давнишнее, ускользающее. Где же он видел это лицо? Те же четыре или пять волосиков на бородавке... Ну да это она, та самая женщина... Только волосы на бородавке тогда были черными, не седыми, а прическа осталась прежней и бюст лишь слегка сравнялся с животом. Там, в районном загсе, она была совсем молодая. Женщина глядит на Зорина, как на неисправимого преступника:

— Скажите, товарищ Зорин, почему вы ушли из семьи?

— Из семьи? — Зорин слегка ошарашен. Оказывается, и это известно. Неужели Тоня?

— Да, из семьи,— повторяет женщина.

— А какое вам дело?

Сначала ему приятно наблюдать, как у нее от возмущения открывается рот и челюсть как бы отваливается. Но уже через несколько секунд ему становится жалко ее, губы у нее дрожат, пухлые руки растерянно мнут крохотный дамский платочек. Члены комиссии возмущены и потрясены зоринским поведением, ему предлагают выйти и подождать решения комиссии.

Зорин выходит в коридор и, не останавливаясь, шагает на улицу. Автобуса нет, он топает, к Голубевым. «Ну и ну! — думает он.— Ну и ну...» Ему вновь, как тогда, когда сидел в милицейской коляске, на секунду становится смешно.

У Голубевых он, отказавшись от ужина, снимает пиджак и ботинки. Молча садится на диван, берет номер журнала «Знание — сила». В статье всерьез говорится о поэтических возможностях электронных машин. Зорин бросает журнал. В висках и в темени нарастает какая-то новая боль, и он плохо воспринимает то, что говорит Сашка:

— Пойдем в кино, хватит по вечерам давить ухо. Подруга дней моих суровых, у тебя три билета? Очень хорошо. А где мой чешский галстук?

Зорин, очнувшись, отказывается от кино и включает телевизор.

— Саш, а чего вы не заведете ребенка?

— Ну, не знаю.— Сашка морщится.— Чего ты лично ко мне пристал? Я, может, и не прочь стать папашей. Спроси вон ее, почему она... Подруга дней моих суровых, ты хочешь ребеночка? Адьо, старик, мы пошли.

Супруги Голубевы исчезают, они идут в кино. Зорин вытаскивает из шкафа постель и раздвигает диван-кровать. Ставит к изголовью Сашкину пепельницу, которая сделана в виде свернувшейся русалки. «В женщинах и правда есть что-то рыбе,— думает он.— По крайней мере, в наших с Голубевым. У Сашкиной половины уже на счету шесть или семь аборт. Какая-то рыба, холодная кровь. И сердце... Русалка — это женщина-утопленница. А Тонька разве не утопленница? Она давно утонула в своей дурацкой работе, она чокнулась на эмансипации, хотя еле волочит ноги. Им думается, что чем они сильнее, тем для них лучше. Они хотят быть независимыми. Они рассуждают с мужьями с позиции силы. И это не так уж плохо у них получается. Сажают мужей в тюрьму, пишут на них бумаги. Да, но кого же тогда защищать мужчинам? Жалеть и любить? Самих себя, что ли?»

Зорин тяжело ворочается, он не может уснуть и то и дело курит. Мысли его вновь и вновь возвращаются к жене, к дочери. Телеэкран мерцает где-то в углу, слова передачи, не проникая в сознание, словно долбят по темени.

Голубевы возвращаются молча,— вероятно, поссорились еще во время сеанса. На вопрос, понравилась ли картина, Сашка бурчит себе под нос: «Шедевр!» Идет в ванную и долго не вылезает оттуда. Затем, босиком и в одних трусах, он ходит по ковру, выкидывая костлявые ноги. Теплая ванна вновь приводит его в добродушное состояние, он философствует:

— Вот объясни мне пушкинского Савельича. Только с марксистских позиций. Да? Ну это ты брось. Брось! А помнишь заячий тулупчик? Старик даже записал его в реестр разграбленных пугачевцами вещей. Не струсил. Вот тебе и лакей.

— Саш, чего бы ты хотел после смерти? — Зорин включает голубевский телевизор.

— Что?

— Чего бы ты хотел после смерти?

— Чтобы выстригли волосы в носу. Ненавижу, когда у покойника торчат из носа волосы.

— Глупый дурак! — слышится с кухни голос Сашкиной жены. — Говорит и сам не знает чего.

— Знаю, — Голубев подмигивает. — Подруга дней моих суровых, а ты не боишься смерти?

— Вынеси лучше ведро.

— Вот! Она ни черта не боится. — Голубев натягивает спортивные штаны. — Даже смерти.

— И возьми корзинку, наберешь в подвале картошки.

Голубев возвращается с картошкой и с пустым мусорным ведром. Зорин сквозь сон слышит, как они с женой добродушно поругиваются. Прежде чем идти спать, Сашка садится на пол:

— Костя, а Костя?

— Что?

— Почему бы вам с Тонькой не помириться? Не дурачься. В твоём возрасте начинают понимать даже фортепьянную музыку... Что? Ладно, дрыхни. Не хочешь слушать лучших и преданнейших друзей.

Утром, придя на объект, Зорин едва успевает провести пятиминутку и поговорить с бригадирами. По телефону его вызывает к себе Воробьев. Зорин едет в контору. В комнате ПТО он рассеянно здоровается и курит с Фридбургом.

— Этот у себя?

— Здесь. — Фридбург берет Зорина за локоть. — Брось, старик. Не задирайся...

Зорин, не отвечая, идет в кабинет Воробьева.

— Садитесь, товарищ Зорин. — Воробьев берет со стола какую-то бумажку. — Административная комиссия советует нам уволить вас с работы...

— Да?

— По статье...

— Мне не интересно, по какой статье. — Зорин спокойно встает со стула. — Когда можно получить документы?

— Рекомендую написать заявление.

Зорин пишет заявление прямо в кабинете у Воробьева.

Воробьев старательно ставит резолюцию: «Просьбу удовлетворить». Зорин, тоже старательно, прикрывает за собой дверь, идет по коридору, прямо в отдел кадров.

Здесь, за столом начальника отдела кадров, как за своим, сидит почему-то сам Кузнецов. Видно, вышел из отпуска раньше времени. Начальник стройуправления загорел, встретил весну где-то на юге. Глаза его при виде Зорина загораются веселыми огоньками. Он здоровается с Зориным за руку и, видимо, сразу соображает, что к чему, осторожно выманивает у Зорина листок бумаги:

— Ну, ну, что это у тебя за цидуля?

Зорин пытается не отдавать заявление. Но Кузнецов настойчиво и как бы шутя добывается своего. Он берет заявление и, не читая, задумчиво складывает, рвет пополам, потом на четвертушки... Бросает обрывки в корзину:

— Что у тебя с шестидесятиквартирным? Гляди, чтобы к Октябрьской, как штык...

Зорину хочется возмутиться, но у него ничего из этого не выходит.

— Андрей Семенович...

— А как на трассе? Плывун все еще есть?

— Шпунт приходится бить.

— Давай!

Кузнецов чешет затылок, разглядывая очередную, подсунутую кем-то бумагу. Он еще не дошел даже до кабинета, его осаждают со всех сторон. Зорин вздыхает и, потоптавшись, растерянно поворачивается. Выходит. У дверей в коридоре он замирает еще на секунду, потом, махнув рукой, выбегает на улицу и едет на объект с первым же самосвалом.

Самосвал рычит и катит мимо трестовского дома, оглабает универмаг с фигурами тонконогих женских манекенов.

«Завтра получка,— вспоминается Зорину.— Надо купить Тоньке обещанный гэдээровский плащ... Кажется, у нее сорок четвертый. Или сорок шестой?»

Солнце греет и бьет в упор, прямо в кабину. Зима снова кончилась, зоринская сороковая зима. Идут обычные будни. Весенние будни прораба Зорина Ка. Пе. Стоп!

Вот он, его шестидесятиквартирный. Дядя Паша кладет уже третий этаж. Плотники сколачивают временки, лебедка тарахтит, а самое главное... «Что главное? Все главное. Ничего, еще поскрипим. Сегодня Ляльку выписывают из больницы...» Зорин, улыбаясь шоферу, распахивает полушубок и на ходу прыгает из кабины.